

Григорий Померанц  
**Записки  
гадкого утенка**

Центр  
гуманитарных  
инициатив  
Москва-Санкт-Петербург  
2013

## В поисках потерянного стиля

**В** старые годы не было телефона, телевизора, даже керосиновой лампы, но был стиль. Потом появилось много необходимых вещей, а стиль пропал. Последним был французский классицизм: попытка общего стиля цивилизации. После его распада романтики потребовали от каждого неповторимой личной гениальности. Но где ее взять? Начались потуги — и пошлость. Флобер тратил целый день, чтобы продрагаться сквозь нее и написать одну страницу просто и выразительно. У нас из этой каши насилу выбрались так называемые реалисты XIX века, начиная с Пушкина. Новая норма ориентировалась скорее на Тургенева и Гончарова, чем на гениальных аутсайдеров, но писать можно было и читать тоже. Потом начались известные передряги — и оказалось, что общий язык одной школой не удержишь. Нужно общество, где на этом языке разговаривают: деревня для народного языка, «образованное общество» для языка Тургенева и Чехова. С ликвидацией буржуев общий язык стал какой-то мочалкой. Ленин сказал про Каутского: говорит, словно во сне мочалку жует. Но Каутский писал еще довольно сносно. Вот если взять нынешнюю газету, статью, доклад — действительно мочалка. Жуетса и жуетса мочалка, и ничего не выговаривается. Как в кошмарном сне. Пытается человек заговорить, а языка во рту нет. Бормочет что-то под нос и сам не понимает.

Наверное поэтому меня попросили рассказать, как я стал самим собой. Попросили люди, лично со мной не знакомые (только по текстам), и я понял их вопрос как вопрос о стиле. Т.е. каким образом я нашел свой стиль, свой язык, свой собственный голос. Первое, что захотелось ответить: я сам не знаю. Это далось очень медленно, много лет, и сделалось очень поздно, годам к сорока. Т.е. половина жизни прошла в поисках стиля (а что делать, если человек умрет в 27 лет, в 37, наконец — в 40 с небольшим? Не знаю).

Время от времени меня распирало словом. И я пытался писать. Но то, что я написал в 1938 г. о чувстве бесконечности, никто тогда не понял. Работу о Достоевском поняли один студент и два профессора. Словно бы я писал по-хеттски или на языке аборигенов Австралии.

На экзамене, когда надо было говорить банальности, язык меня вывозил. Наскоро полистав программу, я схватывал общую мысль и лихо выдавал ее экзаменатору. Но как только хотел выразить что-то свое, —

слова падали в пустоту. Чего же мне не хватало? Общества. Общества людей, переключавшихся со мной. Разговора на равных — и не только с людьми, но с деревьями, с полями... А потом опять с людьми, понимающими деревья и море.

Я помню, как мама в 1937 году показала мне на пляже поэта Нистора, часами глядевшего куда-то за горизонт. Я не пытался с ним заговорить, но искоса поглядывал на него. Что он там видел? Может быть, свою судьбу (его впоследствии арестовали и расстреляли).

Собеседники попадались на моем пути изредка, как деревья в степи. Начинались настоящие человеческие разговоры. Приходили минуты, часы взаимного понимания, открытости, — а потом события разбрасывали нас, и снова все заливала мертвая вода газет.

Я думаю, что стиль — это установка на разговор с известного рода людьми. Расин мысленно обращался к придворному, Зощенко — к недовыговаривающим, выброшенным в культуру и с трудом ворочающим словами (вроде одного деятеля<sup>2</sup>, которого я слышал с голубого экрана: «народы азиатского континента.»). Совершенно освободиться от усмешки над своим собеседником Зощенко не мог и даже не хотел (где-то в нем сохранилась ценностей незыблемая скала), но в то же время серьезно был убежден, что началась эра невыговаривающих и надо учиться говорить на их языке; так что он и свои частные письма стал писать языком Зощенко. У Платонова другой язык, потому что другой собеседник, правдоискатель, выросший в деревне или на городской окраине и поверивший в революцию, как в Царствие Небесное; и автор сливается с ним совершенно, без всякой иронии. Напротив, Булгаков не желает разговаривать с Шариковыми и демонстративно хранит язык старого режима, звучавший в 20-е годы как белогвардейская провокация. У каждого крупного писателя был свой стиль, т.е. чувство собеседника. У меня это не получалось. Я разговаривал с самим собой, не зная, кто я такой и поминутно сбиваясь в книгу.

С 14 лет я пытался выразить мысль, не думая о печати, ни на что и ни на кого сознательно не ориентируясь. Но мои заметки были книжными (говорю по смутной памяти — я их растерял). Стихия живого философского спора возникла для меня только в лагере, в разговоре с другими з/к з/к, сидевшими по ст. 58—10, за болтовню<sup>3</sup>.

Эти болтуны, вынужденные целый день щелкать на счетах или подбрасывать опилки в топку, по вечерам неудержимо философствовали, сплетая книжные обороты с языком воров. Гротескные фразы удивительно подходили к жизни, в которой мы считались преступниками, а преступники — вождями. Я почувствовал себя жукой, брошенной в воду. Из этой школы вышли «Пережитые абстракции» (первый вариант я написал, как

---

<sup>2</sup> Брежнева.

<sup>3</sup> Антисоветская агитация и пропаганда. Если в разговоре участвовали несколько человек, то прибавлялась статья 11 — то же в группе. Срока давались до 10 лет, а в военное или «в обстановке массовых волнений» — до расстрела или 25 лет.

только попал под амнистию, в 1953 г.).

Но продолжения не было. Прошло еще десять лет, пока я окончательно понял, с кем и для кого я пишу. И тогда сразу начались мои эссе. С 1962 года мой внутренний слог сложился, и я его только обуздывал, если надо было написать, скажем, реферат, т.е. просто изложить чужую статью, книгу. По возможности без отсебятины. Все равно, если у человека есть стиль, его не спрячешь. Он как-то вылезает в ритме фразы, в ритме периодов, в организации целого. Опытный читатель узнает меня и в реферате. И, конечно, не только меня. На чем-то ведь поймали Синявского, не спрятался он за Абрамом Терцем. Хотя сравнивать приходилось статьи с рассказами и повестями. Стиль — это шило. В мешке его не утаишь.

Стиль это не то, чего мне надо добиваться, скорее то, от чего я не могу избавиться. Например, когда возникает соблазн анонимности. Меня несколько раз убеждали в каком-нибудь одном случае спрятать свое лицо, и мой единственный и неопровержимый ответ был: всё равно узнают. И действительно узнавали. Не со второй, так с третьей страницы.

Я равнодушен к поискам корней, традиций и не слишком много думал, откуда рос, из чего складывался. Как-то сложился. Кажется, под влиянием Стендаля, Герцена, Достоевского; может быть, еще кого-то. Например Честертон. Или прозы поэтов. Или буддизма дзэн. Можно включить меня в какую-то традицию, но я сам не знаю, как ее определить. Я не боюсь потеряться, переступив через рамки вероисповеданий, национальных пристрастий и проч. Я остаюсь самим собой, о чем бы ни писал: о буддизме или Достоевском. И поэтому иногда мучаю читателя, находя у Достоевского коаны, о которых православные не знают и знать не хотят. Что мне делать? Я ведь не могу придумывать ассоциаций, которых не было. Если приходит сразу три-четыре, выбираю попроще; но ведь это не всегда возможно. Пол-оборота на Восток стало частью меня самого. Стиль — это человек. Найти свой стиль — значит найти свое внутреннее зернышко, свое чувство истины. Обладать стилем, как я это понимаю, — значит плыть, не думая, что плывешь, поворачиваться, не думая о повороте, совершенно верить себе, своему интуитивному знанию, куда повернуть, а не только знать какие-то образцы. Обладать стилем — значит быть самим собой. Тогда, если потянет писать, само собой образуется стиль. Как у Макара Девушкина.

Я сказал, что стиль — это установка на собеседника; а теперь говорю, что обладать стилем — значит быть самим собой. Думаю, это не такие разные вещи, как выходит на словах. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. «Быть самим собой» и «знать своего собеседника» — две стороны одного и того же.

Когда я стал писать свои эссе, я уже понимал, кто я такой: гадкий утенок. И понимал, что никакое мое красноречие не убедит стандартных уток. А стало быть, и стараться нечего. Говорить понятно выучился, работая в школе, но оставаться на уровне школьников во внеслужебное время было неинтересно. И я сразу стал писать для своих, т.е. для гадких

## Через страх. Крыло первое

Летом 1944-го я несколько дней шел по белорусским лесам с лейтенантом Сидоровым. Мне хотелось в него всмотреться. Рота Сидорова устояла, когда наши колонны, беззаботно вышедшие из лесу, внезапно атаковал спешенный венгерский кавполк, вооруженный автоматами с патроном маузер (почти по пулемету у каждого солдата. Свист, треск, грохот...).

Бывший школьный учитель, спокойный, мягкий, Сидоров разговаривал с солдатами, как с учениками. Лихости в нем не было никакой. Но соседи бежали, а его рота остановила противника. Сидоров тогда охрип и теперь говорил вполголоса. Это еще больше подчеркивало его мягкую манеру держаться.

В 1941-м лейтенант Сидоров получил приказ взорвать мост. Он выполнил это не торопясь, пропустив всех своих, и попал в окружение. Вышел без каких-то символов военной чести. Подробностей не помню. Допустим, в гражданской одежде. За это его не повышали в должности и в звании. Только комбат после встречного боя выразил Сидорову свое уважение: каждый вечер посылал котелок жареной картошки (ротные и взводные, как правило, кормились вместе с солдатами).

Стрелковая рота, по уровню опасности, мало отличается от штрафной роты. Командир взвода или роты, прошедший всю войну и оставшийся целым, — живое чудо. Все равно как повешенный, у которого оборвалась веревка. Впрочем, в таком положении был и рядовой состав стрелковых рот. В офицерские школы брали с образованием 7 классов и выше. В артиллерию и другие спецподразделения — тоже. Малограмотные были штрафниками по своему социальному положению. Особенно азиаты, плохо говорившие по-русски (русский мужик еще мог попасть ездовым или на другую несмертельную должность).

Сидоров не видел ничего ужасного в том, что оказался на одном уровне с крестьянами, среди которых жил и до войны. Он говорил о своей судьбе спокойно, без обиды. Не он один терпел установленный порядок. Вообще ему некогда было думать о себе, он думал о других. Есть в России небольшое меньшинство, которое как бы нарочно придумано, чтобы уравновесить безответственность большинства. В обычной жизни, когда начальство всем распоряжается, это меньшинство почти незаметно и не бросается в глаза. Но в обстановке хаоса и развала Сидоровы вдруг выступают вперед. Не на самое первое место: для этого им не хватает честолюбия. Но на очень важное. Можно было выиграть войну без любого маршала и генерала, но нельзя — без Сидоровых. Войну решили согласие солдат на смерть, когда не было ни авиации, ни танков, ни общего плана, ни связи, — и способность Сидоровых организовать сопротивление, оборонять свою высотку, превратить в крепость обыкновенной жилой дом

в центре Сталинграда — и дать командованию время собрать силы для контрудара.

В черновике у меня была фраза: чем-то мне Сидорова напомнил генерал Григоренко. Потом я вычеркнул ее: не мог понять, чем. Потом понял: неосознанной силой характера и способностью создать свой собственный стиль. Общий стиль войны не был сидоровским, не был григоренковским — скорее сталинским. Но Сидоровы и Григоренки тоже были, и кто сочтет — какую роль в обороне Одессы, Севастополя, Сталинграда сыграли Сидоровы, не представленные ни к какой награде?

К вечеру стрелковая цепь прошла деревню, подожженную нашей артиллерией, и залегла в поле. Командный пункт роты и резерв (один станковый пулемет) расположились на пасеке. Дым отогнал пчел, и мы досыта ели сотовый мед. Хозяин иногда выглядывал из погреба, но помалкивал. Вдруг сзади затрещала автоматная очередь, потом еще одна. Били откуда-то с чердаков: я предложил оттянуть назад взвод и прочесать деревню. Сидоров возразил: «Там два-три штрафника, оставленные, чтобы задержать нас до темноты; ночью они сами убегут». Необходимости ловить автоматчиков действительно не было. Наступление к вечеру приостановилось. А стоять на месте штрафники не мешали. Стреляли, кажется, сознательно поверх голов (одна очередь просвистела у меня над пилоткой, даже волосы пошевелила). Видимо, чтобы не разозлить и не заставить искать себя. Сидоров был прав: ночью они убежали.

Мы съели курицу, сваренную в котелке седым ординарцем (я думаю, Сидоров выбрал старика, чтобы облегчить ему службу), и легли спать. «Максим» был повернут в сторону деревни (Сидоров снисходительно одобрил эту мою стратегическую затею). Пулеметчиков строго предупредили спать по очереди, выставили часового и легли. Как сладко я спал на снопе соломы, с расстегнутой кобурой и рукой, сползшей с рукоятки нагана! Никогда не спалось так хорошо в штабе батальона, там все время прислушиваешься к выстрелам: ночная атака? Разведка боем? А здесь передний край, за спиной автоматчики — и никакого страха. Больше того, одна из самых счастливых ночей в жизни.

Так иногда чувствовал себя человек в тюрьме, в лагере. Уже посадили. Уже дали срок, и вдруг наступало чувство внутренней свободы.

Странная вещь страх! В теплушке, на Савеловском вокзале, я тосковал и учил наизусть Блока:

*Похоронят, зароят глубоко.  
Бедный холмик травой порастет...*

А в первом бою наплыв восторга смыл страх. Навстречу везли в дровнях тяжело раненных, большие пятна крови расплывались по марле. Екало сердце, но сознание, что это настоящий бой, совершенно переполняло меня и не оставляло места ни для чего другого. Мне было 23 года, я успел написать несколько статей и прочесть два курса лекций в Тульском пединституте, но чувствовал сражение, как Петя Ростов.